

Памяти моего деда Афанасия Ефимовича Милькина

Знаков наших не увидели мы,
нет больше пророка, и не с нами
знающий — доколе?

Теилм, 74:9

ОДНАЖДЫ В СТАМБУЛЕ

Хотя с момента переименования города прошло едва ли больше недели, искавшие в одном городе другой могли легко заблудиться на его улицах.

Что-то неуловимое покинуло город, ушло из его прежней жизни. Походило это на то, как если бы город был человек, и его стали называть другим именем, лишив заслуг и приписав свойства, которыми он не обладал прежде.

Ретроградный Меркурий не щадил никого. На исходе того самого дня, когда было объявлено о переименовании Константинополя в Стамбул¹, представитель фирмы «Эйтингон Шильд», соратник Соломона Новоградского и «запасной вариант» Ефима Ефимовича на случай непредвиденных обстоятельств, был схвачен турецкой тайной полицией. Произошло это в переулках Галаты — старой еврейской части города, возле книжного магазина господина Червинского, а несколькими часами позже во втором этаже гостиницы «Ханифе», в которой Ефим Ефимович (можно просто — Ефим или Ефимыч) остановился по наводке все того же Соло-

¹ 28 марта 1930 года по указу Мустафы Кемаля Ататюрка Константинополь был переименован в Стамбул.

мона, повесился некий молодой англичанин — тихий двойник принца Георга.

Синематическая внешность островитянина, его пристальные взгляды, ленивый басок и излишняя церемонность, напоминавшая здесь, на Востоке, натянутый собачий поводок, — вот то небольшое, что удалось спасти от забвения некоторым проницательным жильцам гостиницы. Впрочем, не только это. В памяти Ефима в дополнение к тому всплывали еще и частые щелчки массивного портсигара.

К самому Ефиму, курившему в Стамбуле не меньше незадачливого англичанина, Меркурий, похоже, был более благосклонен: спал он таким безмятежным дачным сном, что не слышал даже, как шуршала всю ночь крыльями полиция, точно залетевшая в коридор гостиницы птица.

«Сон мой был столь крепок, что я пропустил даже азан — заунывное пение муэдзина, из-за которого просыпался с рассветом в предыдущие дни, — мечеть располагалась прямо напротив моего окна. Встань с кровати, распахни занавесь — и вот он, минарет, правда, всего лишь до середины, но если открыть окно пошире, вывалиться до пупа и задрать голову вверх, можно увидеть, как муэдзин кричит с шарафа, узенького кругового балкончика, что-то свое длинное-предлинное, повязывающее узлом вечности единоверцев».

А вчера утром Ефим, воспользовавшись благорасположенностью своего бога — бога изворотливости, выпил стакан кипяченой воды из графина, что стоял на прикроватной тумбочке, максимально честно сделал «четырёх дервишей», без которых уже много лет не мог зарядиться на полноценный день, после чего, совершенно не чувствуя боли старых ран, принял ванну и докрасна растерся полотенцем.

Что еще?

Еще он успел до девяти побриться у фарфорового рукомойника, не теряя надежды обнаружить в парике хотя бы один поседевший волос, аккуратно расчесать его, без обычных чертыханий повязать галстук грубым канадским узлом и найти в чемодане куда-то запропастившиеся запонки, подаренные ему Родионом Аркадьевичем в память о вступлении в ложу.

Что еще?

Еще он успел поесть пышный омлет, начиненный крупной дробью зеленого горошка, в ресторанчике гостиницы и выпить маслянистый кофе на углу у бойкого ящеричного вида старика, торговца восточными сладостями и гашишем.

Едва «Регент» Ефимыча отбил девять, он уже стоял на причале, любясь безмятежной синевой Мраморного моря и прилежно растянувшимся противоположным берегом, напоминавшим вчерашний Константинополь.

А через четверть часа всходил по трапу на низкое суденышко, предварительно убедившись, что именно оно через пару минут отчалит к Принцевым островам.

В Константинополь он прибыл за неделю до переименования города, и, хотя о прибытии его Старика — плотогону из давнишних снов Ефима — доложили, письмо от него со словами: «Буду рад принять Вас на нашем острове завтра в первой половине дня», Ефим получил за сутки до того, как повесился англичанин.

«Я поднимался к себе на третий после встречи со Стариком, когда заметил чуть ли не весь персонал гостиницы, столпившийся возле официально распахнутой двери во главе с администратором».

— Я забыл... я вернул... я только дверь открыл... — говорил что-то вроде этого, показывая на медную табличку с номером, мальчик — чистильщик обуви.

Не сразу стряхнув оцепенение, всегда медоточивый администратор бросил после сбивчивых слов мальчика что-то резкое. Ефим понял так: велел, чтобы все быстро расходились. После чего, играя янтарными четками, понес свои сто колышущихся килограммов вниз на первый этаж, по всей видимости, дожидаться полиции.

Англичанин готовился к встрече с полицией иначе — висел на крюке под перекошенной люстрой над столом и упавшим стулом так, будто вытек весь до последней жилы из своего благородного, в алебастровой присыпке твида. Непонятно было, каким образом держались еще на нем горевшие черным остроносые «честеры». Под рассеченной бровью англичанина красовался боксерский синяк довольно больших размеров. А вокруг стола все было оплевано. Причем с такой показательной частотой, что нетрудно было усмотреть в этом следы какого-то обряда.

«Плевки оттого еще так по-первобытному смотрелись, что пол был навощен до того блеска, который присущ более дворцам и музеям, нежели трехэтажным гостиницам с сомнительной репутацией».

В овальном зеркале приоткрытой створки шифоньера отражалась венская горка, в стекле которой, в свою очередь, отражался кусочек английского твида цвета серого неба. Не сохранилось в зеркале только отражение того, кого должна была искать турецкая полиция.

«Окинув взглядом место преступления, я почему-то подумал о том, кому был нужен этот церемонный королевский проведчик. А еще о том, что вполне мог столкнуться с убийцей в холле, как перед поездкой на острова, так и после, то есть — когда убийство было совершено. Не понимал я только одного — к чему было убийце метить место преступления верблужьими плевками? Впрочем, восточный люд разве поймешь. Может, таким

образом он объявлял о своем решительном разрыве с заблудившейся Европой, а может, выказывал свое отношение к англичанину?»

Поднявшись к себе, Ефим обошел номер, заглянул за занавеси, как делал это в детстве перед сном, показывая младшему братцу, что за тяжелой тканью никого. Выглянул в окно — полиция еще допрашивала свидетелей, а у входа стояло несколько полицейских авто.

Лег на кровать. Раскинул руки. Уставился в потолок, будто там шла фильма с его участием.

Вот он проходит по палубе «Бабелона», так называлось пришвартованное судно, разглядывает исподтишка гомонивших пассажиров: «Ни одного примелькавшегося лица, все вроде как «чисто» на этом парходике, ну разве что какие-то две дамы в чадрах стоят на корме и лялякают о чем-то своем, многодетном, вернее одна из них, толстая, лялякает, а другая, высокая, не обделенная привлекательными формами, невнимательно слушает подругу-болтунью — похоже, ее куда больше занимает левый берег».

А что глаза у обеих дам чрезмерно распахнуты, так это может быть чисто его ощущением.

«Когда видишь одни глаза, а о лице лишь догадываешься, кажется, в них, в этих глазах, сосредоточен весь мир».

Ефим это хорошо знал по врачам, скрывающим от пациентов свои лица марлевыми повязками.

«Я по глазам врача, когда лица не вижу, все могу определить. И это все на больничной койке другую цену имеет. Многим гражданским кажется, война — это либо выжил, либо погиб. Походили бы по госпиталям, посмотрели бы на оставшийся в живых фарш, послушали бы ночные завывания».

Может, из-за этих криков, которые даже морфин не брал, он и не пошел по армейской стезе, посчитав бумажомарание во всех смыслах делом более почетным.

«А от Гражданской и советско-польской все, что осталось у меня на память, — это сплошные разочарования в жизни, посеченный картечью живот и мой дружок «браунинг» калибра 7.65 с двумя полными обоймами. Деликатный, для сугубо личных нужд. Уж он-то точно не станет человека в куски рвать».

Чайки.

Чайки сопровождали «Бабелон». По пять-семь то по одному борту, то по другому, и столько же за кормой. Пассажиры с энтузиазмом кормили их чем придется.

Крикливые, длиннокрылые, одноглазые сбоку при полете, они выхватывали еду прямо из их рук, а затем дрались из-за нее в море.

А если еда их более не интересовала, они требовали мзду прожитыми веками и невысказанными словами. Недосмотренными снами. Было в их полете что-то под стать ветру, воде и парусу.

Давно уже остались в белом тумане Айя-София, Голубая мечеть и Галатская башня на высоком холме, а чайки все не отставали, все трудились оттененными снизу крылами. Казалось, они намерены были сопровождать «Бабелон» до самого пункта назначения.

«Какой же длинный, какой долгий Стамбул, даже для них, для этих больших и сильных птиц. Тянется вдоль левого берега, и нет ему конца. Не сравнить ни с одним другим городом».

Сколько стран Ефим повидал, пока жил под чужим именем, сколько городов объездил по заданиям газет и журналов, по делам ложи. Он мысленно сравнивал их с родной Самарой или предреволюционной Москвой. И всякий раз, оказываясь то в Берлине, то в Праге, то в

Риме, спрашивал себя: хотел бы бросить тут якорь? Но все эти города казались ему кладбищами якорей. Что им было до еще одного...

Несколько промежуточных остановок на материке. Одни сходили, другие поднимались на борт. Новые пассажиры смешивались со старыми, и вскоре те две женщины в чадрах, что обратили на себя внимание Ефима в самом начале поездки, скрылись из виду.

Становилось ветрено. Ефим спустился вниз. Сел на скамейку у иллюминатора.

Вглядываясь в синь моря, рыбацкие суденышки, плывущие в сторону родины облачка, Ефим повторял про себя то, что должен был сказать Старику.

Больше всего ему хотелось поскорее отделаться от цитирований донесений, писем, телефонных разговоров, касавшихся окружения Чопура. Он не мог не понимать, что за одни только эти имена и правду, стоявшую за ними, его могли... Он не думал об этом. Разве станет автомобильный гонщик думать о том, что с ним случится, если его авто влетит в какое-нибудь дерево на скорости сорок миль в час? Он думал о том, как же легко ему станет, когда он освободится от возложенного на него груза. Скажет себе самому: «Я сделал все, что смог, пусть те, кто сможет, сделают лучше».

Он оглянулся по сторонам — все в основном толпились внизу. На палубе было холодно. Ветер на воде — не то что меж улочек в городе.

Где-то часа через полтора, может, час с небольшим, «Бабелон», аккуратно переваливая через довольно приличные волны, добрался до первых островов. Снова несколько промежуточных остановок, после чего судно бочком причалило к Хейбелиаде. Еще несколько минут, и вот она, цель — самый большой из девяти Принцевых островов.

Что говорить, Бююкады был прекрасен и вполне оправдывал свое название – Большой остров.

Холмы его поросли невысокими средиземноморскими соснами и елями, живописные виллы крутых греко-еврейских магнатов и небольшие домишки с пологими крышами красного цвета спускались прямо к медленной бирюзово-топазовой воде, на которой устало покачивались лодки, к тихим, словно заговоренным кем-то невидимым, заливчикам. В прогалах зелени, то на одном ярусе, то на другом, виднелись пунктиры выбеленного солнечными лучами серпантина, от одного вида которого шла кругом голова. Два-три раскаленных добела отеля, расположенных на первой линии, выбивались из пейзажа своей материковой основательностью, но сильно картины не портили. За их стенами угадывалась сладкая жизнь, влечение к которой испытываешь тем острее, чем дальше оказываешься от родных мест и заветов предков.

Все вокруг как будто застыло во времени, и само время казалось застывшим.

«Так неохота было отводить взгляд от серо-дымчатой косы. Белого маяка с красной шапочкой. Дремлющего на причале рыжего кота с темными лапками, видно, совсем охмелевшего от рыбьего всплеска и прямых солнечных лучей. Стоял бы и стоял так, прислушиваясь к бредятине чаек. Хотя почему к бредятине, может, к преданию веков?»

Подле пристани у Ефима по сторонам глянуть времени не было – мигом оказался в фаэтоне с двумя молодыми дюжими парнями из охраны Старика, даже не пытавшимися с ним заговорить. Успел только сказать им на причале три кодовых слова на русском, разделенных двумя четырехзначными цифрами, после чего предста-

виться и пожать руки. (И то и другое носило чисто формальный характер и оттого сразу показалось лишним.)

Только в какой-то момент один из парней, тот, что сидел лицом к нему и спиной к вознице, все же спросил его: были ли вон те две женщины в чадрах, что сейчас едут за их фаэтоном, на «Бабелоне»? Ефим ответил ему, что обе дамы на судне были и что сели они в Стамбуле. Но это обстоятельство, как и то, что одна из них странно подсасывала ртом воздух за чадрую — от ветра чадра прилипала к ее рту — напрочь вылетело из головы Ефима, едва он увидел Красного демона революции.